

ЖИЗНЬ

12-13

№ 18 (122)
МАЙ 1992 г.

ВИТЬКУ ВЫПИСАЛИ. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПРОВОЖАТЬ ЕГО ВЫСЫПАЛ ВЕСЬ ГОСПИТАЛЬ

НЕОЖИДАННЫЙ
РАКУРС

Лев Дуров — народный артист (СССР), режиссер Театра на Малой Бронной. Кто не знает его роли в театре и кино! Всем известен, всеми любим — он «народный» по признанию, а не только по званию... Но, оказывается, в одном качестве его не знает никто — он пишет рассказы и «рассказики», и, похоже, у него это «недурно» получается. Сам он относится к этому творчеству с изрядной долей скептицизма и вспоминает слова своего друга — писателя Виктора Петровича Астафьева: «Лучше не пиши!» Прав ли Астафьев? Мне кажется, что нет. А читателю предоставляется право судить об этом самостоятельно...

Николай АЛЕКСАНДРОВ,
специальный корреспондент «Жизни».

Лев ДУРОВ МОЯ ВОЙНА

ГРУСТНЫЙ РАССКАЗ

Ванечка лежал в третьей «тяжелой» палате. Он был «самоваром». Это когда нет у тебя ни рук, ни ног.

До войны Ванечка был трактористом. Войну начал танкистом, на Курской был тяжело ранен и после госпиталя попал в пехоту. А из пехоты — в «самовары». В бою под Киевом, где клокощущей кашей перемешались земля и люди, железо и огонь, шел Ванечка в очередную остервенелую атаку и наступил на немецкую мину. Вынесли его из боя, как обесшученное бревно из леса. Жена от него отказалась. Так и написала: зачем ей, молодой и здоровой, обрубок? У нее вся жизнь впереди. Пострадал, мол, за Родину, вот пусть она о нем и позаботится.

Конечно, Ванечке об этом не сказали. Ищем-де твою жену. Уехала куда-то в эвакуацию, а куда — и соседи не знают. Вот кончится война, и придет за тобой твоя Клавачка.

А Ванечка все понимал и молил всех об одном — о смерти своей. Да как-то странно, по-былинному:

«Ребятунки вы мои славные, да что ж вы это делаете! Да пристрелите вы меня никуда не годного.»

Да на кой же хер мне жизнь такая бескрылая,

Да нужен мне ваш гуманизм, как ржавый гвоздь в заднице.

Да убейте же вы меня, собаки вы паршивые.»

И дальше, поднимая и поднимая голос, начинала материть и минера немецкого хитрого,

и санитаров - подлецов старательных, тех, что с поля боя его вынесли,

И хирурга Фирю — стерву рыжую,

Что его так хорошо обработала.

Постепенно его причитания сливались в протяжный страшный вой. Никто его не останавливал, знали — бесполезно и молча лежали и ждали, когда он наконец устанет, выдохнется, беззвучно заплачет и тихо уснет. И так каждый день — это был его ритуал, его молитва.

Что греха таить, многие считали, что лучше бы не жить Ванечке. Поставь... какое там поставь, положи себя на его место, и жизнь тебе покажется сплошной черной жутью. Без просвета. Я часто после школы заходил к Ванечке и читал ему что-нибудь из хрестоматии. Он всегда слушал с закрытыми глазами. Лицо его было каменным, и страшно синели на нем пороховые веснушки. Только однажды, когда я читал ему «Муму», губы у него задрожали, дрогнули, заморозили, ресницы, и он процедил сквозь заскрипевшие зубы: «Саму бы ее утопить, вот тварь старая!»

Он никогда не улыбался, хоть я и старался читать ему что-нибудь пошмешнее.

Да я думаю, что он редко слушал, а буровил свою неотступную свинцовую думу.

Гришка Черный, разбитной губатый парень из штрафников, с трофейным серебряным перстнем (череп и две кости) на правой руке и с трагически-кокетливой наколкой «нет в жизни счастья» на левой появился в госпитале шумно.

— Братцы, вы все тут кто куда раненые, а я-то весь контуженый. Мне теперь такую справку дадут, что чего ни нахреначу, отвечать не буду. Эх, тряпись теперь, моя милиция. Сочиняйте, братцы, что отчубучить мне, и подавайте в письменном виде, а то вся моя фантазия отбита. Зашел он и в третью с этой просьбой. И увидел Ванечку. А тот как раз только завел свое:

«Ребятунки вы мои славные...»

Гришка Черный застыл в дверях и, не мигая, смотрел на Ванечку, а когда тот завыл, лицо Гришки перекосила судорога, правая щека ушла куда-то вверх и начала дергаться, как затвор у автомата.

— Го-о-о-ре! — завопил он и рухнул на пол.

В госпитале стояла странная тревожная тишина. Никто не разговаривал. Встречаясь, отводили глаза. Тетя Паша, увидев меня, вдруг заплакала, закусив кончик платка: «Помер наш Ванечка, пожалели его, застрелили ночью. Особисты приехали, ищут — кто, а все молчат».

Я пошел в третью.

Ванечка лежал накрытый простыней. В палате были начальник госпиталя и двое незнакомых. Один даже халат не накинул. Я спросил: можно? Начальник госпиталя отвернулся. Без халата долго смотрел на меня, будто хотел что-то спросить, передумал и еле заметно кивнул. Я откинул простыню. Ванечка улыбался.

Незнакомые военные сели в «виллис». Рядом стоял начальник госпиталя. Долго молчали.

— Я знал, что мы ничего не добьемся, — сказал тот, что был без халата.

— Напишите в заключении — «покончил жизнь самоубийством».

— Не понял, — сказал начальник госпиталя.

— Чего тут не понять! Так и напишите. Но неприятности у вас все равно будут.

— Я знаю.

Машина медленно тронулась к воротам.

били зенитки. И шальной снаряд попал в Витькину машину и разорвался у него под задницей. Как дотасился — не помнил, как сел — не помнил, как вытаскивали из кабины — тоже не помнил. Первый раз пришел в сознание только на третий день. Сквозь тошнотную дурноту услышал: противный звук — кусочек металла упал в таз.

— Двадцать седьмой! — услышал Витька. — Жопка, как решето. Низкому женскому голосу никто не ответил.

— Что с этим-то делать? Куда же он с пеньком? И морда у парня больно красивая. Тяжелых сегодня много?

— Трое, Фира Израилевна, — ответил девчоночий голос.

— Скажи Василию Григорьевичу, пусть сам их обработает, а я попробую пришить этому дураку его достоинство, там ведь не до конца перерублено. Угораздило же его... — и гулко засмеялась.

А потом Витька лежал в палате и соображал, что же с ним произошло. Ему рассказывали его историю, хохоча, с похабными подробностями. Ржа до слез, говорили, что один солдат пожертвовал Витьке часть своего — кровь-то ведь сдают и что Фира пришла ему эту надставку. И что с войны он вернется с припеком.

Несмотря на разницу в возрасте, мы очень дружили с Витькой, и он мне, пациенту, часто рассказывал о себе. О том, что есть у него невеста. Самая красивая девчонка в районе. Показывал мне фотографию — смешное, курносое лицо. Но мне тоже казалось, что она — самая красивая на свете. Что у него есть мама — тихая и добрая. А отца зарезал пьяный деревенский психопат. На Пасху напился и стал все крушить на своем пути. Витькин отец решил урезонить его по-хорошему. Тот и впрямь будто послушался. А потом вдруг сзади ударил Витькиного отца ножом. Да и попал точно между ребер в сердце. Отец сел на землю и тихо сказал: «Дурак же ты, Феденька...» И быстро умер. Мать так и не вышла замуж. Не хотела, хоть сватались многие. А по ночам Витька слышал, как она давилась слезами.

И про свою самолетную историю, и про свое идиотское ранение, и про Фирину жалость, и про невероятную по тем, а может, и по сегодняшним временам операцию, Витька тоже любил говорить со мной. Только он очень волновался, как все будет, когда заживут его интимные раны. Однажды Витька сказал, что его собираются выписывать, но хрен-то он тронется с места, пока не убедится, что все у него в порядке. Я толком не соображал, о каком порядке идет речь, но понимал, что для Витьки это важнее жизни.

— А нет — застрелюсь к едрене-фене, — зашептал мне Витька. — Чтоб я к Вере говном явился?! «Вальтер» у меня в клубе закопан.

Тогда у многих в госпиталях было оружие. Его приматывали бинтами под кальсоны. А я первый по разговорам и слухам знал, когда будет «шмон», и предупреждал всех. Они быстро отбивывали свои ТТ, браунинги, «вальтеры», и я их в охалке, как дрова, уносил в сад и закапывал под яблоней. У меня там был тайник. А Витька свой «вальтер» закопал сам, и я знал, что он точно застрелится, если не будет «порядка».

Как-то Витька отвел меня в сторону и сказал, что Фира сама предложила ему убедиться, что не зря она возилась с ним целых три с половиной часа. — Я, говорит, — шептал мне Витька, — сама его вернула к жизни, сама и опробую. Договорился я с Фирой, —



понял? Завтра, говорит, садись в общую очередь на прием и жди вызова. Во дает Фира!

Фира Израилевна была огромной и красивой. Огненно-рыжей. Как говорили про нее раненые, сначала в палату минут пять Фирина грудь входит, а уж потом она сама. Она не стеснялась в выражениях. Говорила громко и гулко. Хирург она была знаменитый. О чем они тогда с Витькой договорились, я опять же толком не понял, но чувствовал, что это очень важно для Витьки и что это — тайна для всех. Только мне доверил эту тайну Витька и мне надо держать язык за зубами.

На следующий день я спешил в госпиталь из школы. Бежал бегом. Хотелось узнать, как Витькины дела. Очень мне не хотелось, чтобы он застрелился. В госпитале творилось что-то странное. Врачи бегали по коридорам и орали на раненых: «Прекратить ржать!». «Швы у вас, идиотов, разойдутся! Черт бы вас побрал!»

Громче всех грохотала Фира: «Молчать! Палец им покажи, коблам! Я вас заново шитьвать не собираюсь». Но сама, не выдержав, закатилась в припадке хохота: «Ох, вот дура! На свою голову... Ох! Ох!» — и, схватившись за живот, убежала к себе.

— Иди к своему — он там зубами всю подушку порвал, — сказал мне кто-то. — Ну, Фира! — и, лязгнув золотыми зубами, взвыл по-собачьи, замахал, как ребенок, руками. — Не могу! — и скрылся в сортире.

Я вошел в палату. На кровати сидел серый Витька.

— Ты кто, Витек?

— Пойдем, — сказал он. — Давай лучше в окно, а то они опять начнут...

Мы вылезли в сад, сели на траву.

— Понимаешь, Швейк, сделал я, как уговорились. Сел со всеми в коридоре. Жду. Вызывает.

— Ну, пришел, красавец? Давай проверим результаты усилий отечественной медицины. Раздевайся.

Снял я пижаму за ширмой.

— Выходи, — говорит.

— Вышел я, а она как распахнет халат, и вся голая. У меня аж горло перехватило. Я и не чувствую ничего, а она говорит:

— Ну вот, Витюша, все у тебя в порядке. Я после войны на тебе диссертацию защищу. Ну, счастливо! Невесте — привет.

Запахнула халат, взяла меня за загривок, дала под зад, я и вылетел в коридор. Только я не заметил, что она мне пижаму на «хозяйство» повесила. Так я и дошел до палаты с пижамой на... А в коридоре-то народу полно-полно... Ну и началось! Сволочи!

— Витек, да пусть ржут. Главное-то — все в порядке.

Витька посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, упал навзничь в траву и зашелся в хохоте: «Ну, Фира! Невесте — привет! А пижаму-то... А я-то по всему коридору... С пижамой... А в коридоре-то полно... А! А я — с пижамой... Во кино!»

Через несколько дней Витьку выписали. Провожать его высыпал весь госпиталь. Никто не смеялся, только улыбались. Витька бросил вещмешок в кузов грузовика и сам ловко запрыгнул в него. Машина тронулась. Вдруг Витька метнулся к кабине и забарабанил по ней: «Стой! Стой!!!»

Он смотрел куда-то вверх. Все повернули головы. В окне третьего этажа стояла огненная Фира и улыбалась. Витька уехал. Домой. В отпуск. По ранению.

ВЕСЕЛЫЙ РАССКАЗ

«Сидит Гитлер на заборе

Просит кружку молока.

А колхозник отвечает:

«Кран» сломался у быка».

Сбавив последнее колено отбивочки, раскинув в присядку руки, я закончил свой номер. Раненые, покатываясь со смеху, хлопали в ладоши.

— Ну, Швейк! Ну, даешь! Ну, артист! Только санитарка тетя Паша качала в дверях головой.

— Выдрать его надо как следует, а они радуются, козлы, да еще руками хлопочут. Тыфу ты, Господи!

— Тетя Паша, — закричал Витек, — куда ты! Он еще не такое знает! Иди, послушай! Про Геббельса! Вали, Швейк!

— И он тряхнул своей кудрявой красивой башкой. Витька был истребителем и моим другом.

Сбили его как-то по-дурачки. Шел домой на малой высоте. Снизу вслепую